## Извини, не могу иначе

В эти дивные дни,

Всё кружились они,

В пляске.

Но пришёл человек –

Потонул тот же век,

В лязге.

Мечом их терзали,

Затем затравили

Криком.

В эти смутные дни,

Стали людям они –

Лихом.

Над хижинами, разросшимися в низине, будто грибы, клубился жгучий дым. В тисах блуждал ветер; он срывал алые ягоды, пробирался в корни кустов, выламывал ветви и отмечал ими свой путь. Вот бы он выкорчевал и человечью заразу, что засела занозой в заду. Это моя земля, никому не отдам. Не могу. Ненавижу! Но моя старенькая зелёная куртка вымокла, хлюпали старенькие худые башмаки. А скоро ночь.

Ливень окатывал от макушки до пят. Поправляя ворот, спешу, значит, обсохнуть и отогреться к овину[1](#easy-footnote-bottom-1-5691), прохожу мимо жертвенника; накануне праздника урожая местные принесли своё добро: спелые фрукты, сладкие коренья, кувшин молока и ароматный пирог.

Нутро требовательно заурчало, дико хотелось взять хоть малость из этой хижинки, увенчанной резным идолом. Ох-хо-хо, вновь подаяние, а не добыча…

Жадно уплетая за обе щеки, припомнил, как тогда, во времена первых поселенцев с большой земли, всех фейри[2](#easy-footnote-bottom-2-5691) настигли смутные дни; как они складывались десятками зим, а те дурные лета, в кои человек решал, жить ли с фейри в добрососедстве, оказались сущей безделицей после прихода народа Книги. Когда на остров с большого курраха[3](#easy-footnote-bottom-3-5691) сошёл человек с крестом, древние боги ушли.

После прихода учения о всеобщей любви, лесной народ и люди в спешке стали вооружаться, и если фейри показывался с пращой, копьецом, или дубиной, человек стращал:

– Смотри, спустим волкодавов, никакие травы на ноги не поставят…

Затем следовала живодёрская трёпка по самое не хочу, а люди ещё и насмехались:

– Как иначе держать вас, дикарей, в узде?

Вот и вышло, что обладание молодым лепреконом[4](#easy-footnote-bottom-4-5691) пытливой головой в довесок ко вздорному нраву привело того в страну гардариков[5](#easy-footnote-bottom-5-5691). Эх, почему он не сгинул в странствиях, а поведал по возвращении так: на востоке похожих нам зовут нечистой силой, страшатся и изводят.

Впрочем, не вздорность подвела к лиху, а судьба наивных элли[6](#easy-footnote-bottom-6-5691) с их бледной, почти прозрачной кожей, да милыми личиками: хозяева приглашали их в хижины и поили крепким элем, развлекались, делали, что хотели…

Перед глазами всё, как вчера: ну зачем, зачем ошалелая ватага лепрекона пошла рыскать по выселкам и душить человека? Вскоре паутина ненависти оплела все уголочки зелёной страны, и немного погодя человек призвал из-за Великой реки варягов. Запылало марево пожаров, настигая в лесах толпы мирных фейри, поплыли искалеченные болью лица ватажников и, стиснутые мёртвой хваткой ужаса, многие сорвиголовы бросались с утёсов, лишь бы не даваться этим страшным людям живьём.

Уцелевших фейри та бойня подкосила надолго. Навсегда. Для человека победа что вспышка. Через час он забыл, с чего приключилась смута, через два жалеет, что вытравил всех до одного (как он полагал), и вот уже человек почитает фейри и, желая умаслить, приносит дары, потому что мы стали легендой: теми, о ком всяк слышал, но едва ли кто-то видел воочию; во всяком случае, вряд ли узнал.

Растирая лицо шершавой, озябшей от холода ладонью, смахивал солоноватые капли, причинённые воспоминаниями о недоумке, и меня вдруг озарило: а катись ты, овин, туда, куда ушли фейри. Покажу человеку, почём горшочек лиха… на большее сил не хватит.

Когда дверь в общинный дом распахнулась, внутрь дохнуло осенней свежестью, искорками слёз влетела листва облепихи…

Просторную хижину сотрясало смачное чавканье вперемешку со звонким смехом, глухим топотом и сочным писком волынок. Витал удушливый чад факелов, тут и там сновали разгорячённые пляской тела селян. В очаге жарко потрескивало пламя, пахло бараниной и жаренным луком. Был проход в кладовую. Была ли там действительно кладовая?

Облокотившись о бревенчатую стенку у порога, поглядывал на крикливую попойку. Крупные капли падали с моих волос и одежды; на дощатый настил натекло прилично: посмотрит кто, и наверняка решит, что патлатый мужлан напрудил под себя не лужу, а целое озерцо.

Подбежала поцелованная солнцем курносая девушка: веснушки облепили её личико, как пчёлы медвяный вереск. Она стояла, закусив губу, и торопливо поправила в волосах ленту цвета морской волны. Потом прошла, легонько тюкнув плечиком, плотнее затворила дверь и с хитрецой поглядела мне в глаза. У всех фейри они зелёные, как листва бузины; и хорошо, что по прошествии поколений, человек эти знания утерял.

– Кого потерял? – спросила курносая. – Иль на праздник явился?

– Быть может, быть может, – бодро ответил ей.

Девушка обождала, приглядываясь с подозрением, и наконец сказала:

– Раз так – отдыхай.

– Чудесно! Превосходно! А что празднуешь, милая?

– Ни тебе, никому другому я не милая… – рыженькая осеклась.

– Как скажешь, – отвечаю ей.

Угадать испуг в глазах девушки легче простого – что за чужаки шарахаются по ночам? Тошнотворный испуг, едва не витающий в воздухе, однако, перемешался с чем-то иным: х-мм, занятно.

– Год от щедрот, – сказала веснушчатая и ковырнула ногтем дверь, – воздаём фейри плодородия.

– Эта братия любит веселье, и кое-что ещё…

Нужно кончать трепаться, и посмотрев на рыженькую сверху вниз, перевёл взгляд на бочку медовухи и озорных девчонок, наполнявших кружали животворной влагой.

– Пикты жениха… сгубили на море, – вдруг призналась курносая.

– Понятно, почему ты пристаёшь ко всяким-яким.

Девушка прекратила ковырять дверь. Возможно, рыженькой привиделось, что вечерок будет не так плох, и ей улыбнулась удача; сейчас то чувство рассеялось. На деле, ей лишь показалось, потому что лучше со мной не связываться: просто нравится думать, что сородичи сгинули в тартарары из-за какого-то другого лепрекона.

После той бойни, выжившие фейри уповали на лихорадку, что раз в десять тысяч лет берёт жатву. Я уповаю на хмель.

– Ещё, пей, – сказала веснушчатая с некоторым смущением.

– Благодарю, – крикнул во след.

Вот так, священное дозволение получено, пора нажраться, а заодно и проучить ушлёпков...

Вокруг бочки сгрудилась шумная кампания татуированных детин, улыбчивых хохотушек простыл след. Один довольный крендель валялся и причмокивая поглощал медовуху, трое его приятелей гоготали и толкали лежебоку, ожидая очереди под пенной желтоватой струёй. Эдак пьянчуги вылакают всё ещё до восхода луны.

Барды прекратили пытать волынки, и когда гомон стих, однако не сменился почтительным молчанием, запела молодица:

Есть трижды пятьдесят островов

Средь океана, от нас на запад.

Больше Гибернии[7](#easy-footnote-bottom-7-5691) они вдвое,

Каждый из них, или втрое…[8](#easy-footnote-bottom-8-5691)

Я уже забыл, зачем наговорил курносой чепухи, когда навстречу вышел довольный жизнью исполин, мешков двенадцать весу овсом. Краем глаза разглядел, что лысина его блестела бронзой, а безусый рот украшала невероятно рыжая борода. Верзила размахнулся, ткнул меня «медвежьей лапой» в плечо и хохотнул:

– Выпьем, дружищ-ще!

И не дождавшись и слова, поспешил к расхитителям пенной; схватил лежачего за шкварник и отправил кубарем отдохнуть в сторонку. Не без труда поднял пузатую над головой и взялся всасывать медовуху. Кадык его ходил вверх и вниз – похоже, лысый припас в своём чреве саму бездну.

Вот так силища! Страшный противник, если придётся схлестнуться, да и речь у него до боли знакома: с клокочущим причмокиванием, уподобленная плеску волн. Варяг, мать его.

Сказительница распевала сагу тоненьким голоском, но ей едва ли кто-то внимал:

В цветистой стране средь красот жили,

Они дряхлость и смерть давно уж избыли.

Слушай же музыку под луной голубою,

В стране Многоцветной дивной весною.

В стране цветистой – о венец земной,

Где мерцают облака белизной…

Бородач жмакнул бочку о грязный пол; остатки пенной просачивались в щели, и от несчастья всё моё тело напряглось, готовое в порыве бешенства засадить что-нибудь острое тупому варягу в его никчёмную харю, когда те молодые парни выкатили из закромов два полнёхоньких бочонка.

О, эти селяне знают толк в медовухе. Опрокинув залпом уже вторую кружаль, плеснул через край третью; тепло медленно разливалось по телу.

Барды, до саги игравшие протяжно и заунывно, сменили мотив. Люди выстроились в два ряда, и ноги сами понесли в гущу кейли[9](#easy-footnote-bottom-9-5691). Парочки кружились, носились вприпрыжку, и вскорости увидал ту рыжеволосую; вот она заговорила, а о чём, среди галдежа не разобрать.

– Ур-р?! – крикнул рыженькой.

Девушка придвинулась и повторила:

– Так ты ещё и хороводишь?

– Пляски наше всё!

Мы взяли друг друга за руки и лихо закружились, и это походило на брачные посулы вечной любви лягушек-квакушек весенней порой. Так полюби же и ты меня, малышка-элли, умоляю… прошу…

– Ты хорош, – вещает девушка.

– У меня много достоинств, – говорю ей.

– Какие например? – интересуется веснушчатая.

– Неплохой моряк, – отвечаю, – да и вообще, славный малый.

Курносая напряглась, но держал её крепко, и она, помолчав, спросила:

– Сколько тебе зим?

– Не ведаю, – говорю, – сбиваюсь каждые пол века.

– Ну что ты несёшь! – не выдержала девушка и мягко ушла полукругом.

Перед моей новой подружкой возник тот варяг с плечами не про каждые ворота и протянул к ней липкие руки, а красавица кружилась, но близко не подпускала.

– Ах ты какая! Ну-ка я тебя, – прокричал бугай и метнулся, готовый утрамбовать девчоночку в охапку.

Рыженькая проворно ушла от цепких объятий и шмыгнула из пляски вон.

– Ты куда? – взвизгнул толоконный лоб и погнался, вооружившись хищным оскалом.

Глядел на них вполглаза. Ох уж этот человек: как напьётся, так Великая река по колено, а как на свежую голову, так лужа по уши. И ведь нечем так набраться. Или есть? Верно, в кладовой припрятано что покрепче медовухи, и надо бы проверить, но сначала…

Одурелый варяг, ухмыляясь, тянулся губами к шее девоньки, лапал её за талию порочными ручищами. Такими орудиями пытки подковы в узлы завязывать, а не миловаться.

Мужики за столами приподнимались, поглядывали на двоих и отмахивались – дело молодое, бывает. И травили байки дальше про охоту и любовные похождения, а в ответ раздавалось восторженное ликование, будто говорили о чём-то неслыханном.

– Эй, приятель, – позвал бородача, хлопнув его по спине.

Исполин чмокнул девушку в щёчку и обернулся.

– Ну, – ревёт, – чего тебе?

– А давай, – говорю, – напьёмся!

Варяг с лёгкой тоской посмотрел на подружку.

– У хозяина есть вещь, – наконец сказал он и ослабил жвала. – Но эта сволочь за так ни в какую. Я его и упрашивал, и угрожал.

– Выпивка, – спрашиваю, – горло дерёт?

– Я же тебе талдычу, дурню. Вещь! – отвечает бугай. – Но тот упёрся рогом...

– А у нас есть вот что! – говорю и пускаю в ход припасённые на светлый день чары; и потянувшись за ухо бородатого, выудил блестящую монетку. Потряс ею перед самым носом варяга и заявил:

– Давай, раздобудь сивухи покрепче.

– Хе-хе, – ухмыльнулся исполин и хотел забрать золотой.

Пришлось отдёрнуть руку.

– Только смотри! – известил варяга, – чтобы самая что ни на есть ядрёная! Распробуй как следует, потом тащи.

– Обижаешь! – ревёт верзила.

Курносенькая глядела во все глаза, а великан расплылся в улыбке и выбежал из хижины, зажав денежку в руке.

– Ну что? – спрашиваю девоньку.

– У-ум? – отвечает веснушчатая.

– Пойдём плясать, – зову её.

Закружившись в дивном танце, рыженькая вдруг осведомилась:

– Как же ты так ловко монету достал, а?

– Всё дело в куртке, – отвечаю, подтягивая курносую за поясок поближе.

Барды терзали волынки и били в бубны; от полумрака и дыма подброшенных в очаг дурманов слезились глаза, но такое мне по сердцу; вскоре над толпой показалась буйная лысина. Одурел-одурелович пропихивался через запруженную хмельным людом хижину и потянулся к моей плясунье.

– Усё! – возвещает варяг. – Мой черёд.

Язык бородатого не то чтобы заплетался, он еле шевелился. Взять бы это помело, да завязать булинем[10](#easy-footnote-bottom-10-5691).

Великан схватил девушку за руку, она отвесила пощёчину и затараторила.

– Погоди, – сказал нахалу и резко добавил, – остынь, чурбан.

Хотя мне и отлично известно, что увещевания в таком состоянии бессмысленны и, как водится, беспощадны. С той лишь разницей, что прежде всегда вразумляли меня.

Варяг смерил нас недобрым взглядом и попёр напролом, затем куда-то мимо. Потом мимее, а там и на толпу, пока не прояснилось – окосел. Ну уж нет, ещё не хватало, чтобы набедокурил кто другой – буянить моя стезя; резким тычком заехал здоровяку в плечо. Тот отшатнулся и ошалело так заорал:

– Да ты охренел!

Волынщики стихли, молодёжь расступилась, мужики одобрительно загудели: давно пора случиться доброй заварушке. Бородатый того и ждал – в два притопа отскочил в сторонку и ухватил скамью, да как замахнулся, так и замер. Чуть погодя сомкнул глаза и тяжело опустился, роняя лавку. Лиходей мял щёки и лоб, опёршись о колченогую подательницу пищи; потом запрокинул голову и захрапел.

Кто-то махнул бардам, те заиграли, вернулся на круги своя галдёж и пошла пляска.

– Ну и вечерок! – весело сказал и, проржавшись как следует, добавил, – а ты держалась молодцом, милая. Знаешь об этом?

– К-конечно, – рассеяно ответила веснушчатая.

– Ты же моя золотая, ну ёлы-палы!

Мы уж вовсю резвились среди хохочущего народа, когда милая подружка сделалась настороженно-тиха, легонько ударила ладошкой мне в грудь, и мы остановились.

– Укачивает, – говорит курносенькая.

– Дык, это не от плясок, – отвечаю ей.

– А от чего же? – спрашивает.

Мы поглядели друг на друга немножко, затем потянул её туда, где должна быть кладовая и крепкая медовуха.

Есть что-то животное, когда мужчина бьётся за женщину, и мы, взявшись за руки, проталкивались сквозь пляски, затем через висящие под потолком рульки и вязанки пряных трав, свернув в закуток, где стояли ящики с грушами. Их ещё не спустили в погреба, и сейчас сладкий фруктовый аромат заполнял всю кладовую.

Мы затерялись в тёмном закутке опьянения, чтобы, скрывшись от надоедливых глаз, опьяняться теплом наших тел и наслаждаться ошеломительной радостью сплетений; барды за стенкой всё пели, очаг всё пылал, а она дрожала и, чуточку помедлив, чтобы насладиться красотой этой курносой ладненькой девчоночки, я невольно влюбился…

Скрип половиц чуть позади, к нам по-воровски подкрались: глянул на досадную помеху: был отблеск, неумолимый замах, и девчоночье:

– Н-не-е-т!..

Косматые тяжеловозы тянули повозку по узкой тропке, понуро ступая по колдобинам; истёртые колёса так и норовили попасть в выбоины…

Серая дымка над головой, щебет поползня и шум ручья неподалёку. Пахло овсом, а справа тянуло мокрой глиной и ряской. Очнулся, найдя себя скрюченным на поклаже и укрытым холстиной. Провёл языком по солоноватым зубам. Потянуться что-то мешало, а ещё мучил зуд во всём теле, особенно у ладоней.

– У-ур, – проговорил я. – Какого боггарта[11](#easy-footnote-bottom-11-5691)?

– Хе-хе! – отозвался бородатый возничий. – Очнулся что-ли?

Повозку затрясло крепче, окончательно выводя меня из забытья. Единственное, что мог сейчас сделать – вымученно потрясти змеёй чугунных обручей, опутавшей от шеи до пят.

– Да-а, набедокурил ты порядком, – сказал рыжебородый, – пришлось доставать кандалы.

Возничим оказался знакомый варяг.

– Зубы остались? – спросил он.

– Остались, – засипел я.

– Сколько же? – интересуется ехидно.

– Не все, – отвечаю ему.

– Сам виноват, – кряхтит бородач.

– Иди ты, – говорю, – в срандель!

– Хе-хе, – отзывается возничий, – т-п-р-у-уу.

Повозка остановилась; варяг медленно обернулся и хищно, пристально поглазел.

– Ты бы видел свою ряху, выкидыш лесов! – бородатый злобно хлестанул вожжами. – Х-ха! Ха! Ха!

Гогот эхом раскатился по залитой лиловым светом долине.

– Знаешь, пока ты пускал слюни, – говорит варяг, – за бесчинства над конопатой, селянам хотелось вспороть тебе брюхо и заставить мерить потроха шагами.

– Впустую треплешься, – отвечаю ему.

– Х-хе! Хе! Треплюсь, – соглашается возничий, – а забрюхатить ты её забрюхатил, вот же родится уродец! Только представлю ваш приплод – и б-р-р-р: смуглое хвостатое существо с тремя бестолковками, все головы остроухи и похожи на папашку. То-то девчуле будет счастье – хоть топись.

Бородач, похоже, вызнал мою тайну, но про ЭТО скорее всего загнул – ну не может такого быть! Даже у чистокровок отпрыски случались совсем редко и, если девушка-фейри была на сносях, от празднеств племени леса гудели, как пчелиный рой. А человек?.. приговорил края от далёких туманных пиков на востоке и до бескрайней синей глади на западе стать Ирландией; объявил дары лесов дикими: привёз ягоду размером со сливу, растит сливу размером с яблоко: сиротливые вересковые луга уже не дождутся своих маленьких сидов[12](#easy-footnote-bottom-12-5691) и остальных наших... охо-хо, как достало мерзопакостное одиночество. Люди, люди, что же вы наделали? Какие же вы алчные ушлёпки… ненавижу!

Череду воспоминаний и скрежет зубов прервал грубый голос варяга.

– Знаешь, дружок, – проговорит он, – я не в ссоре с твоим народом, и нам бы эту… удачу.

– Удача – дело случая и сноровки, – бормочу я. – Тем, кто дюже сноровист, подавай только случай.

Возничий повернул голову и ощерился: подёрнутые скорбутом зубы кажет; глаза блестят погибельной жестокостью.

– Ты думаешь, – говорит, – я потратил грёбаный золотой на грёбаную выпивку? Не-а, да вот поутру полез за монеткой и нашёл лишь горсть пепла. Ты, жучара, за кого меня держишь?!

– Это всего лишь слова, – отвечаю ему.

– Селяне могли и обчистить, пока дрых, – рассуждает варяг, потрясая головой в восторге от собственной прозорливости, – но тебя всё равно бы вздёрнули, а я убедил судить такого злодея по закону… понимаешь, мы не грабить идём. Помоги же нам, а?

– Кому вам? – спрашиваю его серьёзно.

– Мореплавателям, – отвечает, – открывателям новых земель. Ты слышал о Винланде[13](#easy-footnote-bottom-13-5691)?

– Не приходилось, – соврал я.

– Иной раз море выбрасывало на берег диковинную листву, – беззлобно рассказывает варяг, – а бывало и цельные стволы чудных деревьев – мы украшение ладье ваяли, так топор весь в зарубках. Судя по течениям, неведомая земля где-то на западе, – рассказывает, – да ещё эти байки матросни без счёту: видеть – видели, но пристать не сумели. Винланд, без сомнения, на свете есть.

– И в чём препона? – спрашиваю настороженно.

– Да ведь известно, что путь к чудесной стране стерегут крылатые змии, – варяг быстро похлопал по воздуху ладонями, будто собирался взвивается в высь, – и ещё эти пещеры на краю света – засосёт неудачников и ищи-свищи. В отлив воды бешено уходят в эвоные пещеры, чтобы выплеснуться по другую сторону океана с приливом. Если же нас забросит далеко на север, быть беде иной: говорят, там небо и море едины, и твердеют до каменной прочности… Что же молчишь? Здесь ты, похоже, не пришей кобыле хвост, а с нами завоюешь почёт, а может, и своим станешь. Что скажешь? Предлагаю сделку и дружбу… Ну подумай, подумай.

Что тут думать? Раз этот охламон видел мой хвостик и вострые ушки, паясничать без толку. Но и спешить некуда: вскинуть руки за голову вышло не в раз, да ещё бы улечься, чтоб кандалы не тревожили голову. Холодные, бестии, как от них половчее отделаться? И не отдохнёшь… сколько там до городишка-то, самое меньшее седмицу на тюках прыгать. Пустое, нечего плакаться – знал поди, к чему приведут якшанья с людишками.

Открыватель новых земель – чудно так-то, да только хрен отпущу чар удачи. Во мне едва теплятся силы крови, куда уж до везения целой ораве – хрена с два им, а не успех. А если то хоть вполовину истина, о чём судачит варяг, в ладьи и прорву лепреконов напихай, удачи в плавании дождутся хрена с два; скорее поголовно сгинут. Неужели прямо-таки сгинут? Да-да – точно! Охо-хо, знал бы ты, чучело завеликоречное, что вымаливаешь, а остальные твои собратья ещё и клюнут на медвежью услугу и народу набежит побольше: вот бы втереться в доверие к вождям!..

Хмурое небо синевой пронзила молния.

– Ну-у, добро, – говорю варягу, едва не поперхнувшись от слюны и удовольствия.

– Вот и славно! П-шла быстрее, – улыбается возничий, потирая поводья, – по осени мы не шибко ходим под парусом, думаю, посидишь до весны в подземельях. Если тебя, конечно, не вздёрнут на том чистилище, что горожане почему-то зовут судом.

Я перевернулся на другой бок, а нечто хрюкающее, ворчащее пробудилось в брюхе. Похоже селяне всё же заставили мерить собственные потроха, просто говорун об этом умолчал.

Тени от серокаменных домов падали на повозку. Время от времени из окон поглядывали любопытные жители в выцветших от морского ветра платьях; кто-то низвергнул помои, и они расплескались зеленовато-серой жижей по мостовой; там совсем скоро пробежали мальчишки, разбрызгивая мерзкие капли во все стороны. Кроме людей, нечистот, да серого камня ничего не видно.

Возничий остановил лошадей, сунул руку в котомку, извлёк ключи: забряцали замки кандалов. Может, варяг передумал брать лепрекона в море, а сам только и ждёт, чтобы я метнулся спасать шкуру? Не зря же у него широченный клинок за пазухой припрятан… Ох, глупость какая. Не затем тратил на меня прокорм, а какого же леща кидал всю дорогу, суля несметные блага. Что до клинка, так и пустые руки могут оказаться оружием о-ё-ёй.

– Погоди, дружок, – весело гаркнул бородач. – Я живенько в харчевню и сюда, а ты покамест ноги разомни.

Варяг скрылся за дверью под лакированной вывеской в виде тролля. Я легко спрыгнул и огляделся бодренько так, будто не осталось за спиной тряски, когда тебе хреново не до тошноты, а до рвоты, томительных ночей, когда ты вымокаешь до ниточки, и лишь глоточек креплёного из бурдюка спасает от холода. Кроме хмеля, в пути меня согревала и память о славницах: как же здорово думать о них, особенно о последней, рыженькой. И не просто рыженькой, а рыженькой-бесстыженькой, с растрёпанными волосами и глубокими чёрными глазами. Да, получив обухом, я словил фей над макушкой, но память понемногу вернулась: «Погодите, – кричала девчоночка тогда, склонившись надо мной в неуклюжей попытке защитить… – да с кем хочу, с тем и буду. Пусть лучше его в город, там не обидят по навету, а постриг вы мне и так сулили. Нет же, я всё о нём знаю, он – моряк… да всё равно, что не верите. Море у меня жениха отняло, может, море и вернёт…»

– Ур-р? – отзываюсь.

– Ты, говорю? – ворчит коренастый мужичок, в двух шагах от варяга, – ты лепрекон?

От них несло вонью приморских душных харчевен.

– Ну, – отвечаю тихо.

– Кильватер гну, – крякнул мужичок и повернулся к бородачу. – Что-то непохож, надо бы проверить.

– Не сомневайся, – говорит варяг.

Рыжебородый подошёл ко мне, откинул длинную волнистую прядь, и все кругом увидели заострённое ушко, а варяг ещё ущипнул кончик и потянул, заставляя подняться на цыпочки. Посмотрим, как он запоёт, когда спиной поймает стрелу…

– Не усердствуй, – сказал мужичок и шагнул ближе.

Бородатый послушно выполнил наказ и почтительно попятился.

– Почему же ты не сбежал? – спросил коренастый и странно улыбнулся, будто я прошёл хитрющее испытание, ведомое им одним.

– Не той я породы, – ответил ему, силясь не расплыться в ухмылке, – чтобы такое дело упустить.

И ещё долго выплёскивал с три полнёхоньких короба говорливости, скопившихся за седмицу молчания: «Если островитяне достигнут Винланда, кончатся распри делёжки пастбищ, и нам, исконным жителям острова, будет даровано местечко под ясным солнышком, и век благоденствия будет долог…»

Мужичок обхватил меня жилистыми руками, прижал к груди и приподнял над мостовой; и матёрый пройдоха-возница весело улыбался рядышком, а резвившаяся неподалёку ребятня переглядывалась и шепталась. То-то вечерком будет потрещать.

Стрела достигла цели. Это было великолепное попадание удачливого охотника. Просвистев в воздухе, кремень вонзился не в покрытую плащом спину, а в самое сердце: задуманное удалось на славу.

– Ты что же, – спрашиваю мужичка, – кормчий?

– Нет, друже, поднимай в горку, – отвечает коренастый весёлым голосом. – Мене здесь каждый волкодав шлёт привет бойким лаем. С вождём говоришь.

– Ох-хо-хо, – я склонил голову эдаким подобострастием, да башмаком так покрутил по брусчатке, – что же ваше сверхзанятоправящее почтение поживает в харчевне?

– Ну-у, что за придыхание? – проговорил коренастый, – что бы ты понимал в вождях. Мы такие же люди, как и вы...

Дни в заботах пролетали незаметно – за восходом закат. Желающих пуститься за хорошей жизнью разыскали скоро (ха-ха!) – работы для всех на острове не хватало; стар и млад, мужчины и женщины взошли на вместительные ясеневые кнорры[14](#easy-footnote-bottom-14-5691), вверяя свои жизни на милость кормчего и погоды. Меньше, чем хотелось бы – многие вожди желали повременить до весны.

Человек взял провиант, птицу, даже скот и хозяйственную утварь, и вот из залива Ирландского моря вереницей вышли двенадцать серых крыльев, и нам поначалу сопутствовала удача – морские разбойники не встречались.

Под парусом мы прошли мимо трёх островов Аран, населённых монахами; а однажды на ладью нашла крупная волна, и желая помучить человека, я крикнул:

– Водяная лошадь!

Все кинулись разглядывать ужас в глубине, хотя и не увидели чего-то особенного. Но уверяю, домысел – злейший враг моряка.

– Может, это пиау-ли[15](#easy-footnote-bottom-15-5691), – говорили люди, – селки[16](#easy-footnote-bottom-16-5691), или даже мировой змий[17](#easy-footnote-bottom-17-5691)?

В последнего хотя и не верили, многие перекрестились, а чудище вынырнуло и ударило воду хвостом.

– Всего лишь кит, – сказал кормчий, – живо на вёсла.

Беда стерегла в ином…

Спустя седмицу разыгралась непогода: белая пена слепит, чёрная вода окатывает, волны подбрасывают кнорры, как пушинки; тут я и решил – сгину сам, или утоплю наглеца, посмевшего оплести кандалами…

Пояс обшивки у днища жёстко и надсадно стонал под натиском треклятых волн: «Приплыли!.. чини пробоину».

Поиск затычки ничего не дал для спасения ладьи, кроме попавшегося под руку бочонка, припасённого любителем харчевен: плеск от топота ног, ор двух десятков лужёных глоток, и вот уж нос ладьи из чудного дерева уходит в воду. Варяг лезет мне на загривок, борода варяга лезет ему в глаза; а затем, получив по шее, морской волк идёт ко дну вслед за всем своим волчьим отрядом; я вовсю еложу ногами в ненасытной солёной хляби и, ухватившись за бочку, подтягиваюсь повыше, а она всё вертится, шторм всё лютует, и режут острые брызги.

Совсем молоденький паренёк на уцелевшем кнорре заметил меня, и там случилась короткая перепалка: «Куда!.. это же лепрекон, заманил в шторма!», – тут же неслось в ответ: «И сам за бортом? Уймись уже», – остроглазый ухватил свёрнутую кольцами пеньковую верёвку, швырнул за борт что есть мочи. Узнал об этом я много позже, в сырой землянке по весне, а сейчас поблагодарил скупым кивком.

В тот день мы пожертвовали коварным морским водам две ладьи; и гонимых сильным южным ветром и течением, нас несло к Полярной звезде – на север.

Здешняя осень намного суровее ирландской: солнце едва поднималось над пустынным горизонтом и не давало тепла. День не приходил. Опускались сумерки и вновь наступала кромешная темнота. Человек просыпался во мраке, напряжённо слушая завывания ветра и непрерывные удары волн о борта; ворочался на лежаках, думая: где земля? Человек знал: впереди зима. Он тянул носом пропитанный сыростью воздух и кутался, коченея на ветру. А от провианта почти ничего не осталось…

Спустя множество лун на одном из кнорров раздался крик:

– Земля!

Моряки различили скалистые, заснеженные берега – только злые духи могут обитать в таких мрачных местах.

Человек приблизился к необъятной гористой земле, покрытой редколесьем; проплыл вдоль исхлёстанного солёными ветрами побережья, и бросил якоря в надёжно хранимом от штормов фьорде. В его глубине ирландцы соорудили убежища из нестроганых берёзовых брёвен, пренебрегая лепреконьей помощью – потому что простить злоключений не могли, но и гнать не смели. Мы с востроглазым пареньком срубили добротную, тёплую землянку, и даже застелили по низу брёвнышками поверх толстого слоя бересты.

Прозрачный, как слеза элли, лёд откалывался от белоснежных накидок на грубых резких скалах, скатываясь в залив: не плавайте у ивово-серых склонов! Неприветливый лес встревожил человека не менее, чем невероятные айсберги, порой походившие на дремлющих великанов. По ночам человек слышал волчьи завывания: близ стоянки кружили вечно голодные твари, которые, возможно, и были злыми духами.

Наступало утро, человек сидел у землянок и устремлял взор на увенчанные льдом хребты; кто напряжённо вглядывался в залив, кто чинил сети, кто собирался ставить силки. Человек не заговаривал, размышлял, строил планы...

Наступила зима и, чтобы согреться, человек жался спинами к очагу и друг к другу. Ослабленные голодом, не все пережили стужу; и лишь грёзы о Винланде – его зелёных лугах, радужной форели в полноводных реках и мягких зимах – вселяли надежду и придавали сил долгой ночью.

С приходом весны отступили болезни, стихли тревоги; многим захотелось вернуться в Ирландию, но не всем пришлась эта идея по вкусу. Кто знает, как примут их в родных краях, вернувшихся несолоно хлебавши.

Лиха беда начало, у моего зоркого сотоварища разошлась лихорадка; первое дело – барсучий иль медвежий жир, да где его взять? Ирландцам недосуг – собираются в путь, а у мальчугана, наплевавшего на молчаливый бойкот остроухим, из родни только мамашка, да какая из неё охотница.

Обойдя округу, прямо-таки обнюхав каждый камень у обледенелой речушки близ стоянки, изыскивая барсука, широким шагом двинул в редколесье, где покачивались голые ветви и встречались пугливые куропатки, и устремился дальше – к хребту. Только сейчас, добравшись до можжевелового запустения, до бескрайних снегов и едкого, врезающегося под кожу мороза, я впервые за столько времени почувствовал себя как дома. Свобода!..

Солнце уже клонилось к вершинам гор, окрашивая багровым скрипучую порошу, а я не увидел даже заячьих троп, но, немного растерянный, уже с десяток перестрелов шёл к ущелью на ярко-рыжую точку.

Добрался до пещеры, и тут из её зева, сложенного гранитными валунами, раздался страхолюдный рёв. Любопытство угасло, и страсть как захотелось убраться восвояси. Перехватив рогатину, однако, усилием воли заставил ходу не сбавлять и, почти вжавшись в лёд, едва не на карачках прокрался под свод: увидел старца с серой кудлатой бородой до самых пят. Истрёпанная суконная одёжа на сгорбленном силуэте и здоровенное кольцо в носу делали незнакомца ещё более уродливым.

Неверный свет костерка мертвил развешенные тут и там грозди ягод и вязанки вяленых рыбин, и от сомнений я поджал хвост. Старая рохля скрючился в середине пещерки, ухватил несколько хворостин и подбросил в огонь; взбудораженное пламя лизнуло котелок с отвратно булькающей бурдой. Кроме дремучего старца никого.

Шагнув обратно, задел рогатиной связку сушёных тыковок, семена в них громко заклокотали. Я замер, а дедуля, скользнув по мне разъеденными дымом очага глазами, остановился на рогатине и вдруг заговорил:

– Эка тебя занесло, лепрекон.

Ёлки-палки, кудлатый говорит на языке фейри.

– Ты что тут творишь, – говорю по-ирландски, – злодействуешь?

– Р-р-ря-я, – завыл старец, набычив морщинистую шею, и будь я даже варягом, хлебнувшим воды и соли семи морей, очумел бы до боггартов. На морде страхинея пробивалась шерсть, зелёные глаза сделались пунцовыми, из-под кривых губ высунулась пара гладких клыков, один из которых обломлен, острые уши обвисли, вылез змеиный язык из пышущей слюной пасти, из-под лохм наметились витые рога... Гоблин[18](#easy-footnote-bottom-18-5691), или хуже того – бугган[19](#easy-footnote-bottom-19-5691), рычал с такой неуёмной страстью, что шея его трижды хрустнула.

Землю выдернули у меня из-под ног и, шмякнувшись на спину, вразброд дёргал хвостом и руками-ногами, выбираясь на спасительный мороз. Жуткий гоблин, однако, потеряв всякий интерес к незадачливому охотнику, со странным безразличием занялся по-прежнему тошнотворной похлёбкой.

Даже не отойдя от ледяных ветров, но получив порцию ужаса, я на одном дыхании пролетел сколько-то шагов, а вокруг на сотни перестрелов – глухомань. В груди колотилось, из носа и рта вырывался горячий пар; и что есть силы я завопил: «Какого боггарта!» – словно надеялся докричаться через белый плен и позвать на подмогу своих... «Какого боггарта?!»

Когда успокоился, лепреконья гордость потянула вернуться и надрать страхинею зад.

Рогатина валялась в снегу, но поднимать не стал – как-никак бугганы из фейри. Только этот одичалый, небось лет под двести ревёт на округу.

Снял сапоги, чтобы совсем тихо, по-охотничьи, прокрасться вглубь. Дряхлого трясло, он, кряхтя, сжимал-разжимал длинные, синие от голубики пальцы то ли над костром, то ли над котлом. С головой у буггана было всё в порядке; а у меня, похоже, не очень.

– Собрать-собрать, – сипел окаянный, – неплохо, ды?.. сжать, жать. Последняя жатва... пламень в небесах, хорошо бы?.. Я – сорокопут, они – мыши. Мощь древних, ды?.. собрать… что скажешь, остроухий?..

– Собрать? – шепнул я, старательно выговаривая древний язык. – Что ты вообще такое? Ты же фейри, верно?

Пламя наконец занялось высоко, и бугган повернул голову, лукаво щуря глаз.

– Хочешь таким стать, сынка? – спросил старец.

– Каким же? – говорю. – Дряхлым?... одичалым?.. ку-ку?

– Могучим, – отвечает, – свободным.

– Хочу-у, – промычал я, – но как это? Вопьёшься в шею и осушишь?

– Мне ведомо заветное слово, – ответил бугган.

– Так трави!

– Эк шустряк, – сказал бородатый и вернулся к похлёбке. Взял длинную ложку, зачерпнул жижи, подул и отведал. – Ум-м, вкуснятина. Да ты обувку-то надень, надень обувку. Сейчас лопать будем.

Вот же пещерная пакость, знает ведь, что священный обет претит отвергать угощение: вот я и прыгнул в сапоги у входа, воткнул рогатину в сугроб – так сказать, застолбил место, и вернулся во всеоружии.

Скоро в руках держал горячую плошку с варом, а бугган, разломив морщинистыми руками буханку хлеба(?), подал краюху и заговорил:

– То уже после христиан в Гибернии и не жил, а вышло вот как: довелось прознать, что один из ярлов островных ищет пути до страны Многоцветной. Бывало он и снаряжал ладьи на запад, а возврата нету, вот ярл и ополчился на сыновей – растил, мол, окажите уважение. А у младшего разлад случился с селянами, дошло до смертоубийства. Ну он руки в ноги, и пустился в далёкие края за реку Великую, прихватив кого-то из родни, и ни слуху, ни духу годка с три, потом – возвратился; как героя встречали общиной.

С такими словами бугган прошёлся по пещерке, заложив руки за спину и присвистнул от удовольствия. Затем достал суконную тряпицу и, промокнув ею вспотевшее лицо, продолжил:

– Вроде бы, мореход даже примирился с семьёй того злополучного. На пиру в честь прибытия, сынок-то охотно баял о тёплых краях, да ещё хвастал лозами слащенного винограда и толстенными колосья пшеницы оттуда. Как наступила весна, снарядил человек огромный отряд. Удел сам знаешь, какой наш брат выпросил, а тут такая удача – обернулся человеком, вступил на ладью, да заговорил ветра дуть на север, а у самых берегов здешних призвал шторм лютый. Самому, видишь, тут пришлось...

Слушая старого фейри, я посмеивался, узнавая себя: кровь одних предков.

Предок добавил:

– Я подзабыл, какими путями тебя занесло сюда?

– Прибыли с человеком по осени, – отвечаю, – перезимовали, и сейчас, так выходит, вертаем обратно…

Услышав про обратный путь, бугган насупился: мохнатые гоблиничьи брови сдвинулись, полезла шерсть – правда, пока лишь из носа и ушей.

– А ловко-то я заманил их! – оправдывался я. – Собирались, как бы, к Винланду.

– Как-же, как-же, – покряхтел старый и заговорщицки понизил голос, – уйти им не должно.

– Конечно-конечно, – успокаивал я дряхлого фейри, – расскажи-ка, лучше, батя, как ты тут живёшь?

– Живу, сыночек, помаленьку. Устал уже, правда.

Старик прилёг на соломку у огня, укутавшись в белые шкуры и прикрыл глаза.

– Поведай о родине, – попросил бугган.

Сидя на краешке бревна, вытянув к очагу ноги, я в красках распалялся об одинокой жизни, скитаниях и тяготах; а рохля ворочал побитой холодом шеей, что по пещере то и дело раздавалось звонкое щёлканье, и переспрашивал, а подчас и журил за бессовестную леность строить козни.

Потом как подпрыгнет над соломой и заторопится выдворять:

– Пора тебе, – говорит бугган.

– Куда же я пойду? – спрашиваю. – Снаружи, почитай, полночь.

– То-то и оно, – говорит кудлатый старик, поднимает палец, а ручища – вся в шерсти – ну точь-в-точь медвежья.

Он отошёл и подпёр лбом потрескавшийся свод пещеры. Зловредному гоблину перечить ни к чему, и лишь у выхода я остановился:

– А как же с этим?.. со словом?

– Успеется, – ворчит шерстяной не оборачиваясь, – вали отселева.

Цветистое сияние отражалось от заснеженных склонов. Разглядывать чудо севера недосуг, тем более, видеть многоцветные всполохи довелось уж не раз и не два.

Когда убрался от пещеры далече, зазвучало тревожное эхо полуночи; вскоре за спиной сокрушил тишину надрывный, страдающий рёв.

Быстро оглядел пути к отступлению, и тут же уяснил – бежать некуда – не встретив ни единой тропки во взгорок, угадать источник шума совсем не трудно – больше некому мчаться из ущелья, которое прямиком ведёт к логову.

Перехватил рогатину, напряг уши до морщинок на лбу, а бугган не заставил ждать: вот лунный свет выхватил из темноты огромного всклокоченного быка, надвигающегося бесшумной тенью бытия. Я напрягся, и почти что движением копейщика выбросил рогатину вперёд, вложившись в удар всей силой прытких ног. Но в тот момент, когда чудище должно было вышибить из меня дух, всё стихло.

Очнулся от оцепенения, когда над головой зашуршали клубы искрящегося в серебряных лучах снега; передо мной лишь гиблое место; и поминая дряхлого крепкой матерщиной, быстро зашагал в пещеру.

Костёр потух, но ещё дымится; попривыкшие к темноте глаза пошарили по логову, заметив буггана в человеческом обличье мирно дремлющем на соломке. У старикана было такое грустное лицо, как у покойника.

Снаружи плачет вьюга, ещё дальше, у фьорда, в землянке мучается парнишка, изводится осунувшаяся мамашка, спорят неугомонные вожди – идти на запад, или в Ирландию; и кнорры уже спущены на воду, где они покачиваются, готовые отбыть хоть… хоть утром, и впредь не возвращаться к этим ненавистным землям…

Обслюнявив палец, опустился на колено, поднёс ладонь к носу буггана, проверяя дыхание: старый фейри мёртв. Ну и пёс с ним, мохнатый на белом свете зажился. Хотя – как знать, может, мы родились в один год: дряхлыми нас делают не прожитые зимы, а неуёмная страсть к чародейству.

Накинув холстину, оттащил мертвеца в сторонку, а сам улёгся у очага, укутавшись в белоснежные шкуры мехом к голому телу, потому как снял наперёд своё и развесил над головешками – пускай просохнет – и заснул, гадая, как бы добыть медвежьего жира, не воюя с косолапым.

Пробудился отдохнувшим и легко вскочил, совершенно не ощущая дюжей холодины нетопленной пещеры и твёрдо веруя – иди нагишом до фьорда – не замёрзну, плыви до самой Гибернии – не сгину…

От радости, что полон сил, подпрыгнул и хлопнул в розовые ладоши, коснувшись пальцами гранитной глыбы надо мной, к которой хитрющим образом присобачены вязанки всякого съестного добра. А ведь тут от земли два моих роста – вот что крепкий сон делает…

Есть хотелось до жути! Запихивая в рот вяленого окуня, заодно запивая травяным настоем и натягивая штанину, ещё умудрялся метать невероятно обострившимся зрением по уже наспех проверенным пожиткам старого фейри и, положив глаз на пластины китового уса, вскочил и короткими движениями нарезал его, зачерпнул из бочки горсть грязного жира, годящегося лишь на свет и обогрев, накатал шариков, да в каждый вставил свёрнутый улиткой ус, выбежал наружу и облепил снегом комочки, дожидаясь знакомой руке твёрдости… и убрался из пещеры вон.

К полудню, прыгая с валуна на валун, покрытые порошей и буро-малиновыми лохмами ягеля, я забрался на вершину ущелья; мысли о скором отбытии ирландцев не тревожили – ветра прибьют ладьи обратно, в это я веровал крепко. Но раздумья прервались, едва углядел мирно бредущую семейку белоснежных. Ринулся к ним: два медвежонка разбежались, их мамашка протопала несколько прыжков и поднялась на дыбы, готовясь разорвать супостата на клочки – это было видно по её осклабленной морде; а во мне кипели силы, дав которым волю, уже трудно остановиться, и зверю, да что там – тем самым скалам, где мы стоим, несдобровать.

Но вышло иначе…

Голова не дала распуститься рукам, приберегая свежие, ещё непознанные силы. Припасённые шарики брошены к лапам медведицы; та принюхалась, слизнула «подкорм» длинным розовым языком, а я дал дёру. Та во след, но новая и новая порция комочков жира останавливала пушистую вновь и вновь, пока погоня зверя не перешла в шаткую походку.

Солёные ветра раскачивали ветхие стебли ковыля, позади стелилось криволесье, ещё дальше лежали свободные ото льдов фьорды, а похожие на облезлые шкуры пики хребтов глядели свысока холодным безразличием…

Медведица завыла и повалилась на бок и, еле поднявшись, побрела к испуганным косолапым малышам. Но встрече состояться не суждено. Расплавленный горячим соком жир освободил дремлющее проклятие медвежьего рода, пронзая желудок зверя остротой китового уса.

– О, святые мученики, ты вернулся!.. – заохала матушка паренька.

И вернулся не абы с чем, а с добычей, и указав голодным ирландцам на зарубки, отправил их приволочь «урожай» трёх медведей, а сам метнулся в землянку и положил ладонь на горячий лоб похрапывающего мальчишки: «Как ты, приятель? Не тужи, вернёшься домой, ещё и девоньку себе сыщешь. Слово фейри!» – и самому страсть как захотелось в путь: вдохнуть аромат луговых трав, подставить лицо приветливым лучам, обнимаясь с тёплым солнышком, и веснушчатой…

Неповоротливые кнорры, покачивая бортами, неспешно уходили в студёное море; под килем в глубокой синей зыби с печальными глазами шныряли морские котики, стайками метались белёсые рачки, били хвостами огромные касатки…

Прощай – забытый богом край. Лучше родной Ирландии ничего нет.

– И хуже, – уверяли иные.

Так и плыли, уже привычные к тесноте и острым ледовитым брызгам, и однажды погожим весенним утром три ладьи отделились, взяв западнее – то неуёмные вожделением смельчаки пытали счастье, устремляя свои бывалые кнорры к Винланду; и мне расхотелось строить им козни, заговаривая ветра, но и помогать открывателям новых земель вроде бы не за что.

Медвежий жир пошёл пареньку на пользу, и вскорости он твёрдо стоял на своих двоих: мальчуган выглядел радостным, ликовала его мамашка и, непонятно чему, улыбался я сам.

Однажды, когда кнорры едва не пожрали путь до Ирландии целиком, юный вперёд смотрящий завидел серые паруса за утёсом: грозные змии драккаров[20](#easy-footnote-bottom-20-5691) устремлялись навстречу, и свежий ветер доносил глумливые крики.

Вцепившись в борта, ирландцы смотрели, как приближаются пикты, как их вёсла вспарывают морскую рябь, как трясут они топорами и щитами. Глаза негодяев яростно сверкали и, судорожно сплёвывая от нетерпения скорой наживы, морские разбойники улыбались.

– Г-а-аа!.. – неслось над синевой, и то не крики чаек, а гогот толпы пиктов, высаживающих для пущего устрашения стрелу за стрелой из забитых под завязку колчанов.

– Нам конец, – застонала юная ирландка и вся скукожилась, подавшись к самому днищу, – надругаются и убьют.

Стрела воткнулась, обдирая растрескавшийся борт, туда, где молодая только-что сидела.

Теперь, когда почти все вожди с дружиной ушли на запад, вымученные бедствиями ирландцы поглядывали на меня с надеждой, признавая силу первого охотника.

– Не лезьте на рожон, – буркнул им, скорее обращаясь к перепуганному мальчугану и его мамашке… а она вся пожелтела с перепугу, лицо её вытянулось, пожелтели одежды и руки, и… что это у неё?.. течёт тёмное по тонкому лезвию в кулаке.

Эх вы, несмышлёныши… захотелось сплюнуть, глядя на этих горемык. Впрочем, слово фейри дано лишь парнишке, а что до остальных… да катитесь вы хоть в тартарары.

Кабельтов на исходе… из лоханок полезли своры в звериных шкурах: видали мы чудищ не чета таким вот.

Нож против топора и щита – нашпиговывают друг друга мутным холодом металла: ирландцы падают табунами в кровавую, жуткую ковригу с редкими пиктами вместо изюма.

Удар щитом встретил меня у правого борта и опрокинул вверх тормашками. Но похожим на полёт хлыста рывком, я вскинул руку, и поджарый пикт взвыл, схватившись за отравленные чарами глаза. Улучая момент, я вонзил остриё под рёбра и столкнул тело ногой в море.

Уловка не спасёт изничтожаемых ирландцев: того гляди всех перережут: я развёл ладони, изготовившись выплеснуть силы, каковых родная сторона не видела с самых седых времён; теперь я умел…

Небо, доселе ласкавшее синевой, заалело маслянистым багрянцем, и двенадцать ярких столбов пламени ринулись с заоблачных высот, вспенивая синие морские волны, прожигая дерево и плоть… своих и чужих…

Многие погибли сразу; пережившие этот апокалипсис в суеверном ужасе кидались в жгучие, алые воды и вовсю гребли к спасительным берегам.

От взрывов подлетели даже самые тяжкие тюки; и если кто глянул бы со стороны, то заметил, как неподъёмная поклажа придавила немощного старика, в мгновение ока сжившего силу буггана невиданным заклятием, искоренившим даже привычную плотскую мочь. Кнорр медленно уходил на дно, прихватив своего бедового палача.

Солёная вода нещадно драла уши и нос; в слабой груди разрывались два тугих клубка, перед глазами плыли мутные видения о чудесной стране: где-то там, на краю земли распускались полевые цветы, облака мерцали кипенной белизной, восходила голубая луна – как и пела сказительница. Цветистым землям суждено оттаять, когда изживёт себя жестокосердие…

Ветер трепал лохмотья на выживших. Каждый из подпаленной толпы отплёвывался стоя на четвереньках, тычась в гальку взморья; выбрались из клятого пекла и пара волкодавов, переживших зимовье, и несколько полосатых мышеловов, и странно видеть всю эту ораву снизу-вверх.

«Говорю тебе, – крикнул я и бросился к парнишке… – добьём пиктов!»

Но вместо этого по-лепреконьи заурчал:

– Ур-р… му-р-р…

Люди поднимали друг друга и перевязывали раны, востроглазый утирал кровь с рассечённого лба матери; псы истошно облаивали, и я больше не мог терпеть этого безразличия, побежав через луга и деревушки, тёмные боры и злоключения, поджидавшие усатого за каждым поворотом, туда, где, быть может, тоскует рыженькая девчоночка. Да, она оказалась там…

\*\*\*

Лёжа подле очага приятно растянуться и повертеться на спинке, завлекая двуногих порезвиться со мною; а то и куснуть проходящих мимо. Потянется человек пройтись пальчиками по моей блестящей шёрстке, по моим висячим ушкам[21](#easy-footnote-bottom-21-5691) – мурлыкну по-лепреконьи и дам дёру, а то и зацеплю вострыми коготками за мягкие пяточки. Потом правда получу под хвост, но что делать, дух мой в память о прошлой вражде к человеку увлекает поиздеваться над двуногими. А затем и попросить прощения, вертясь под ногами и выпрашивая съестного, да одаривая живущих со мною долготою дней, оберегая от стрелы в ночи и от змиев днём – так что извини, хозяюшка, и ты, маленький хозяин с глазами цвета листьев бузины, но я не могу иначе.

Международный литературный конкурс «Пролёт Фантазии» - [http://fancon.ru](http://fancon.ru/)